

На маяк

I

У ОКНА

1

— Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придется пораньше, — прибавила она.

Ее сына эти слова невероятно обрадовали, будто экспедиция твердо назначена и чудо, которого он ждал, кажется, целую вечность, теперь вот-вот, после ночной темноты и дневного пути по воде, наконец совершится. Принадлежа уже в свои шесть лет к славному цеху тех, кто не раскладывает ощущений по полочкам, для кого настоящее сызмальства тронута тенью нависшего будущего и с первых дней каждый миг задержан и выделен, озарен или отуманен внезапным поворотом чувства, Джеймс Рэмзи, сидя на полу и вырезая картинки из иллюстрированного каталога Офицерского магазина, при словах матери наделил изображение ледника небесным блаженством. Ледник оправился в счастье. Тачка, газонокосилка, плеск поседевших, ждущих дождя тополей, грай грачей, шелест швабр и платьев — все это различалось и преображалось у него в голове уже с помощью кода и тайнописи, тогда как, воплощенная суровость на вид, он так строго поглядывал из-под высокого лба свирепыми, безупречно честными голубыми глазами на слабости человечества, что мать, следившая за аккуратным продвижением ножниц, воображала его

вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен.

— Да, но только, — сказал его отец, остановясь под окном гостиной, — погода будет плохая.

Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений. То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был не способен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямылся и маленькими сощуренными голубыми глазками обшаривал горизонт), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки.

— Но погода еще, может быть, будет хорошая — я надеюсь, она будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи и несколько нервно дернула красно-бурый чулок, который вязала. Если она с ним управится к завтраму, если они в конце концов выберутся на маяк, она подарит чулки зрителю для сынишки с туберкулезом бедра; прибавит еще газет, табаку, да и мало ли что еще тут валяется, в общем-то без толку, дом захламляет, и отправит беднягам, которым, наверное, до смерти надоело день-деньской только и делать, что

начищать фонарь, поправлять фитиль и копошиться в крохотном садике, — пусть хоть немного порадуются. Да, вот какво это — месяц, а то и дольше быть отрезанным на скале с теннисную площадку размером? Не получать ни писем, ни газет, не видеть живой души; женатому — не видеть жену, не знать про детей, может, они заболели, руки-ноги переломали; день за днем смотреть на пустые волны, а когда поднимается буря — все окна в пене, и птицы насмерть разбиваются о фонарь, и башню качает, и носа наружу не высунешь, не то тебя смоем. Вот какво это? Как бы вам такое понравилось? — спрашивала она, адресуясь в основном к дочерям. И совсем по-другому добавляла, что надо, чем можно, стараться им помочь.

— Резко западный ветер, — сказал атеист Тэнсли, сопровождавший мистера Рэмзи на вечерней прогулке туда-сюда, туда-сюда по садовой террасе, и, растопырив костлявую пятерню, пропустил ветер между пальцев. То есть, иными словами, самый что ни на есть неудачный ветер для высадки у маяка. Да, он любит говорить неприятные вещи, миссис Рэмзи не отрицала; и что за манера соваться, вконец огорчать Джеймса; но все равно она его не даст им в обиду. Атеист. Тоже — прозвище. Атеистишка. Роза его дразнит; Пру дразнит; Эндрю, Джеспер, Роджер — все его дразнят; даже Таксик, старикашка без единого зуба, и тот его тяпнул за то (по заключению Нэнси), что он сто десятый молодой человек из тех, кто погнался за ними вслед до самых Гебридов, а ведь как бы славно побыть тут одним.

— Вздор, — очень строго сказала миссис Рэмзи.

И дело даже не в склонности к преувеличениям, которая у детей от нее, и не в намеке (справедливом, конечно) на то, что она слишком много народу приглашает к себе, а надо бы размещать в городке, но она не позволит нелюбезного отношения к своим гостям, особенно к молодым людям, которые бедны как

церковная крыса, «способностей необыкновенных», муж говорил; от души ему преданы и приехали сюда отдохнуть. Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему — за рыцарство, доблесть, за то, что составляют законы, правят Индией, управляют финансами, в конце концов, за отношение к ней самой, которое женщине просто не может не льстить, — такое доверчивое, мальчишеское, почтительное; которое старая женщина вполне может позволить юнцу, не роняя себя; и беда той девушке — не дай бог такого кому-нибудь из ее дочерей, — которая этого не оценит и не почует нутром, что за этим стоит.

Она строго одернула Нэнси. Он за ними не гнал-ся. Его пригласили.

Из всего этого как-то надо было выпутываться. Есть, наверное, простой, менее изнурительный путь. Она вздохнула. Когда смотрелась в зеркало, видела впалые щеки, седые волосы в свои пятьдесят, она думала, что, наверное, можно бы и ловчее со всем этим управляться: муж; деньги; его книги. Но зато себя лично ей не в чем упрекнуть — нет, никогда ни на секунду она не пожалела о взятом решении; не избегала трудностей; не пренебрегала своим долгом. Вид у нее был грозный, и дочери — Пру, Нэнси, Роза, — подняв глаза от тарелок после того, как им досталось за Чарльза Тэнсли, только молчком могли предаваться своим предательским любимым идеям насчет другой жизни, совсем не такой, как у нее; возможно, в Париже; повольтоней; не в вечных хлопотах о ком-то; потому что поклонение, рыцарство, Британский банк, Индийская империя, перстни, жабо в кружевах были, честно сказать, у них под сомнением, хотя все это и сопрягалось в девичьих сердцах с представлением о красоте и о мужественности и заставляло, сидя за столом под взором матери, уважать ее странную

строгость правил и эти ее преувеличенные понятия об учтивости (так королева поднимает из грязи ногу нищего и обмывает), когда она строго их одернула из-за несчастного атеистишки, который погнался за ними — или, если точнее сказать, — был приглашен погостить у них на острове Скай.

— Завтра у маяка нельзя будет высадиться, — сказал Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя под окном рядом с ее мужем. В самом деле, кажется, он достаточно высказался. Пора бы уж, кажется, оставить их с Джеймсом в покое; пусть бы продолжали беседовать. Она на него посмотрела. Жалкий экземпляр, говорили дети, сплошное недоразумение. В крикет играть не умеет; горбится; шаркает. Злая ехидна, — говорил Эндрю. Они раскусили, что ему в жизни нужно одно — вечно взад-вперед прогуливаться с мистром Рэмзи и толковать, кто обосновал то, кто доказал это, кто тоньше всех понимает латинских поэтов, кто «блестящ, но, полагаю, недостаточно основателен», кто несомненно «одареннейший человек в Бейллиоле»¹, кто покамест прозябает в Бедфорде² или в Бристоле, но о нем еще заговорят, когда его Пролегомены³ (мистер Тэнсли захватил с собою первые страницы машинописи на случай, если мистер Рэмзи захочет взглянуть) к какой-то области математики или философии будут опубликованы.

Она сама иной раз еле удерживалась от смеха. На днях она что-то сказала насчет «несусветных волн». «Да, — сказал Чарльз Тэнсли — море несколько неспокойно». — «Вы промокли насквозь, не правда ли?» —

¹ Один из известнейших колледжей Оксфордского университета; основан в 1263 г. (основатель — Джон Бейллиол). (Здесь и далее — *примеч. перев.*)

² Женский колледж Лондонского университета.

³ Введение (вошедшее в научный обиход слово греческого происхождения).

сказала она. «Промок, но не то чтоб насквозь», — отвечал мистер Тэнсли, ощупав носки и ущипнув себя за рукав.

Но, дети говорили, злит их другое. Дело не во внешности; не в повадке. В нем самом — в его понятиях. О чем ни заговоришь — об интересном, о людях, о музыке, об истории, да о чем угодно, мол, теплый вечер, и почему бы не погулять, Чарльз Тэнсли, — вот что несносно, — пока как-то так не передернет, не сведет на себя, не принизит тебя, не обозлит этой своей гадкой манерой дух из всего выколачивать — он ведь не уймется. И в картинной галерее он будет спрашивать, — они говорили, — как тебе нравится его галстук. А уж какое там нравится, — прибавляла Роза.

Крадучись, как холостяки после званого обеда, сразу после еды восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рэмзи разбрелись по комнатам, по своим крепостям в доме, где иначе ничего не обсудишь тихом: галстуки мистера Тэнсли; прохожденье реформы; морских птиц; бабочек; ближних; а солнце меж тем затопляло мансарды, разделенные дощатыми переборками, так что каждый шаг отчетливо слышался, и рыданье юной швейцарки, у которой отец умирал от рака в долине Граубюндена, подпаляло крикетные биты, спортивные брюки, канотье и чернильницы, этюдники, мошек, черепа мелких птиц и выманивала запах соли и моря из длинных, бахромчатых, повешенных на стены водорослей, а заодно из набравшихся им после купанья вместе с песком полотенец.

Споры, распри, несоответствия взглядов, заскоки — куда от них денешься, да только уж зачем с ранних лет, — огорчалась миссис Рэмзи. До чего они непримиримы — ее дети. Мелют вздор. Она шла из столовой, ведя за руку Джеймса, не пожелавшего присоединиться ко всем. Что за бред — сочинять несоответствия, когда, слава богу, и без того никакой гармонии нет. В жизни хватает, очень даже хватает

настоящих несоответствий, — думала миссис Рэмзи, остановясь в гостиной подле окна. Она имела в виду богатых и бедных; высокое и низкое происхождение; и волей-неволей ей приходилось отдавать должное знатности; ведь разве не текла в ее жилах кровь весьма высокого, хоть и несколько мифического итальянского рода, чьи дочери, рассеясь по английским гостиным в девятнадцатом веке, умели так сладостно ворковать, так неистово вскидываться, и разве свое остроумие, всю повадку и нрав она взяла не от них? Не от сонных же англичанок, не от льдышек-шотландок; но сейчас ее больше волновало другое — богатство и бедность, то, что она видела собственными своими глазами, еженедельно, ежедневно, здесь в Лондоне, когда посещала то вдову, то загнанную мать — сама, с корзинкой в руке, с пером и блокнотом, в который аккуратными столбиками заносила жалованья и расходы, периоды найма и безработицы, надеясь таким манером из обычной женщины, занимающейся филантропией (примочка к больной совести, средство для утешения любопытства), сделаться тем, что в простоте души она ставила так высоко, — исследователем социальных проблем.

Вопросы это неразрешимые — так ей сдавалось, когда, держа за руку Джеймса, она стояла у окна. Он потащился за нею следом в гостиную — молодой человек, над которым все потешались; стоял возле стола, что-то неловко перебирал, чувствовал себя изгоем — она знала, не оборачиваясь. Все они ушли — ее дети; Минта Дойл и Пол Рэйли; Август Кармайкл; ее муж, — все ушли. Вот она и повернулась со вздохом и сказала:

— Вам не скучно будет меня сопровождать, мистер Тэнсли?

У нее разные неинтересные дела в городе; еще надо написать несколько писем; она будет минут через десять; надо шляпу надеть. И через десять минут она

явилась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, снаряжена для прогулки, которую, однако, ей пришлось прервать на минуточку, огибая теннисный корт, чтобы спросить у мистера Кармайкла, который грелся на солнышке, приоткрыв желтые кошачьи глаза (и, как в кошачьих глазах, в них отражалось качание веток и ток облаков, но ни единой мысли, ни чувства), не надо ли ему чего.

Они затеяли грандиозную вылазку, — сказала она смеясь. Отправляются в город. «Марок, бумаги, табак?» — предлагала она, остановясь с ним рядом. Но нет, оказалось, ему ничего не нужно. Он пожимал собственное объемистое брюшко, моргал, словно и рад бы ответить любезно на ее угожденья (она говорила искусительно, хоть и чуть-чуть нервничала), но не мог пробиться сквозь серо-зеленую соню, которая все обволакивала, отнимая слова, летаргией сплошного доброжелательства; весь дом; весь свет; всех на свете, — потому что за ланчем он накапал-таки в стакан несколько капель, которыми и объяснялись, думали дети, ярко канареечные разводы на борде и усах, собственно, белых как лунь. Ему ничего не нужно, — бормотнул он.

Из него бы вышел великий философ, — говорила миссис Рэмзи, когда они спускались по дороге в рыбачий поселок, — но он неудачно женился. — Очень прямо держа черный зонтик и странно устремляясь вперед, так, словно вот сейчас, за углом, кого-то встретит, она рассказывала; история с одной девицей в Оксфорде; ранний брак; бедность; потом он поехал в Индию; немного переводил стихи, «кажется, дивно», брался обучать мальчишек персидскому, не то индустани, но кому это нужно? — и вот, пожалуйста, как они видели, — на травке лежит.

Он был польщен; его обидели, и теперь его утешало, что миссис Рэмзи ему такое рассказывает. Чарльз Тэнсли воспрял духом. И, намекнув на величие муж-

ского ума даже в упадке и на то, что жены должны (против той девицы она как раз ничего не имела, и брак был довольно удачный, кажется) все подчинять трудам и заботам мужей, она вселила в него еще неизведанное самоуважение, и он рвался, если они, скажем, наймут пролетку, заплатить за проезд. А нельзя ли ему понести ее сумку? Нет, нет, — сказала она, — уж это она всегда сама носит. Да, конечно. Он это в ней угадывал. Он многое угадывал, и особенно что-то такое, что его будоражило, выбивало из колеи неизвестно почему. Ему хотелось, чтоб она увидела его в процессии магистерских мантий и шапочек. Профессорство, докторство — все было ему нипочем, — но на что это она там засмотрелась? Человек клеил плакат. Огромное хлопающее полотнище распластывалось, и с каждым мановением кисти являлись: ноги, обручи, кони, сверкая красным и синим, глянцевито, зазывно, — покуда полстены не закрыла цирковая афиша; сто наездников; двадцать ученых моржей; львы, тигры... Вытягивая вперед шею по причине близорукости, она разобрала, что они будут «впервые показаны в нашем городе». Но это же опасно, вскрикнула она, нельзя однорукому так высоко забираться на лестницу — два года назад ему отхватило косилкой левую руку.

— Все давайте пойдем! — вскрикнула она, трогаясь с места, будто все эти кони и всадники наполнили ее ребяческой радостью и вытеснили жалость.

— Давайте пойдем, — повторил он слово в слово, но с такой неловкостью их выталкивал, что ее покорило. «Пойдемте в цирк!» Нет, не мог он этого выговорить как надо. Он не мог этого почувствовать как надо. Отчего? — гадала она. Что с ним такое? Он в эту минуту ужасно ей нравился. Разве их в детстве не водили в цирк? — спросила она. — Ни разу, — выпалил он, будто только и дожидался ее вопроса; будто все эти дни только и мечтал рассказать, как их не

водили в цирк. Семья у них была большая, восемь человек детей, отец — простой труженик. «Мой отец аптекарь, миссис Рэмзи. Он держит аптеку». Сам он с тринадцати лет себя содержит. Не одну зиму проходил без теплого пальто. Никогда не мог «соответствовать оказываемому гостеприимству» (так выморочно он выразился) у себя в колледже; вещи носит вдвое дольше, чем все; курит самый дешевый табак; махорку; вот как старые бродяги на пристани; работает как вол — по семи часов в день; его тема — влияние кого-то на что-то; они зашагали быстро, и миссис Рэмзи уже не ухватывала смысла, только отдельные слова... диссертация... кафедра... лекция... оппоненты... Она слушала вполуха противный академический волапюк, поехавший как по маслу, но говорила себе, что теперь-то ясно, почему приглашение в цирк его вывело из равновесья, бедняжечку, и почему его сразу так прорвало насчет родителей, братьев, сестер; и уж теперь-то она приглядит, чтобы его больше не дразнили; надо все рассказать Пру. Приятней всего ему, наверно, было бы потом рассказывать, как Рэмзи его водили на Ибсена. Он жуткий сноб, это да, и нудный донельзя. Вот они уже вошли в городок, вышагивали главной улицей, мимо грохали по булыжнику тачки, а он все говорил, говорил: про преподаванье, призванье, простых тружеников, и что наш долг «помогать своему классу», про лекции — и она поняла, что он совершенно оправился, о цирке забыл и собирается (и опять он ужасно ей нравился) сказать ей... — но дома по обеим сторонам расступились, и они вышли на набережную, перед ними раскинулась бухта, и миссис Рэмзи не удержалась и вскрикнула: «Ах, какая прелесть!» Перед нею лежало огромное блюдо синей воды; и маяк стоял посредине — седой, неприступный и дальний; а направо, насколько хватало глаз, сплываясь и падая мягкими складками, зеленые песчаные

дюны в колтунной траве бежали-бежали в необитаемые лунные страны.

Этот вид, сказала она, останавливаясь, и глаза у нее потемнели, страшно любит ее муж.

На минуту она замолкла. А-а, сказала она потом, тут уже художники... В самом деле, всего в нескольких шагах стоял один, в панаме, желтых ботинках, серьезный, сосредоточенный, и — изучаемый стайкой мальчишек — с выраженьем глубокого удовлетворения на круглой красной физиономии всматривался в даль и, всмотревшись, склонялся; погружал кисть во что-то розовое, во что-то зеленое. С тех пор как тут три года назад побывал мистер Понсфурт, все картины — такие, сказала она, — зеленые, серые, с лимонными парусниками и розовыми женщинами на берегу.

А вот друзья ее бабушки, сказала она, скосив украдкой взгляд на ходу, — те из кожи вон лезли; сами краски растирали; потом грунтовали и потом еще занавешивали мокрыми тряпками, чтобы не пересохли.

Значит, заключал мистер Тэнсли, она хочет сказать, что картина у этого типа никчемная? В таком духе? Краски негодные? В таком духе? Под влиянием удивительного чувства, которое наливалось во все время пути, назревало в саду, когда он хотел взять у нее сумку, едва не перелилось через край, когда он, на набережной, собирался ей рассказать о себе все, — он чуть не перестал понимать самого себя и не знал, на каком он свете. В высшей степени странно.

Он стоял в зальце захудалого домика, куда она его привела, ждал, пока она на минуточку заглянет наверх проведать одну женщину. Слушал ее легкие шаги; звонкий, потом матовый голос; разглядывал салфеточки, чайницы, абажурчики; нервничал; старательно предвкушал обратный путь; решал непременно отобрать у нее сумку; слушал, как она вышла; закры-

ла дверь; сказала, что окна надо держать открытыми, двери — закрытыми, и если что — пусть сразу к ней (кажется, обращалась к ребенку), — и тут она вошла, мгновенье стояла молча (будто наверху притворялась и теперь должна отдохнуть), мгновенье стояла, застыв под королевой Викторией в синей перевязи ордена Подвязки; и вдруг он понял, что это — вот оно, вот: в жизни еще он не видел никого, так дивно прекрасного.

Звезды в ее глазах, тайна у нее в волосах; и фиалки, и цикламены — ну что, ей-богу, за чушь ему лезет в голову? Ей же минимум пятьдесят; у нее восемь человек детей; ломкие ветки прижимая к груди и заблудших ягнят, бродит она по цветочным лугам; звезды в ее глазах, в волосах ее — ветер... Он взял у нее сумку.

— До свиданья, Элси, — сказала она, и они пошли по улице, и она очень прямо держала зонтик и шла так, будто кого-то встретит сейчас за углом, а Чарльз Тэнсли тем временем чувствовал невероятную гордость; человек, рывший канаву, перестал рыть и смотрел на нее; уронил руки вдоль тела и смотрел на нее; Чарльз Тэнсли чувствовал невероятную гордость; чувствовал ветер, и фиалки, и цикламены, потому что в первый раз в жизни шел с дивно прекрасной женщиной. Он сумел завладеть ее сумкой.

2

— Ехать на маяк не придется, Джеймс, — сказал он, стоя под окном, и сказал так противно, даром что из почтения к миссис Рэмзи старался выдавить из себя хоть подобие доброжелательства.

Противный молокосос, думала миссис Рэмзи, и как ему не надоест.

— Вот ты завтра проснешься, и еще окажется — солнышко светит, птички поют, — сказала она ласково и погладила мальчика по голове, потому что муж, она видела, своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно, и потом — уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, так нет же, противному молокососу надо снова и снова совать ему это в нос.

— Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, — сказала она и погладила его по головке.

Теперь только и оставалось восхищаться ледником и листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку, такое что-нибудь с ручками, зубчиками, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа; скажет он — будет дождь; и они уже сразу: разразится страшная буря.

Но вот она перевернула страницу и вдруг прервала поиски косилки и грабель. Низкое воркотанье, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки и убеждавшее в том (хоть слова она не разбирала, сидя в гостиной у окна), что мужчины благополучно беседуют, — этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки — шлепки бит по мячам, выкрики «Сколько? Сколько?» с крикетной площадки, — звук этот вдруг оборвался; и рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям или, когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельной в исполнении природы: «Я опора твоя, я защита твоя», но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал, но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров

ведь оседает, того гляди его проглотит море, предупреждал среди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга, — вот этот-то звук, затененный было и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши, и она вздрогнула и вскинула взгляд.

Они уже не разговаривали; вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств, с любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства она заключила, что бедняжку Чарльза Тэнсли отставили. А это уж не ее забота. Если мужу нужны жертвы (о, еще как нужны!), она ему с удовольствием жертвует Чарльза Тэнсли, который обидел ее бедного мальчика.

Она еще мгновенье вслушивалась, подняв голову, ловя привычный, ровный, механический звук; и вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив, со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песне и карканью, и тотчас она успокоилась, убедясь, что все идет хорошо, и глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать, только если будет очень стараться.

Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы:

Под ярый снарядов вой!¹ —

ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. Только одна Лили Бриско, убедилась она с удовольствием; ну, это ничего. Но, глянув на девушку, стоявшую у края лужка с мольбертом, она вспомнила: ей же надо по возможности не вертеть головой — ради картины Лили.

¹ Строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады».

Картина Лили! Миссис Рэмзи усмехнулась. С этими своими китайскими глазками и личиком с кулачок замуж ей не выйти; картины ее нельзя принимать всерьез; но она такая независимая, бедняжечка, миссис Рэмзи это в ней страшно ценила, и, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.

4

Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя: «Смело кидайся в бой!»¹ — но, слава богу, рывком повернул и галопом помчался прочь, славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы. Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но покуда он этак вопит и размахивает, можно не опасаться; он не остановится, не уставится на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот, в напряжении всех чувств вглядываясь, впитывая, покуда цвет стены и лепящегося к ней ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился; но почему-то по шагам угадала, что это Уильям Бэнкс, и хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же (как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тэнсли, Пол Рэйли, Минта Дойл, да кто угодно, в сущности) не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом.

Они квартировали в деревне и, входя, выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это

¹ Строка из того же стихотворения Теннисона.

сближало; так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом (он ей в отцы годился, ботаник, вдовец, пахнул мылом такой щепетильный и чистый), она тоже осталась спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинирована, до завтрака уже уходит с мольбертом, одна надо думать: вероятно, бедна, и хоть, что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной, розовой мисс Доил, зато у нее голова на плечах, а это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несся на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла.

Кто-то ошибся!¹

Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну. Потому-то, решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс, верно, и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись. Но не без труда она оторвала взгляд от картины.

Ломонос был неистово фиолетовым; стена — слепяще-белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну, раз уж так она это видела, как бы ни было модно после приезда мистера Понсфурта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. И ведь, кроме цвета, есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть — и куда что девалось. В этот-то зазор

¹ Из того же стихотворения.

между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили ее, делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать, и, борясь с незадачей, она себя подбадривала; повторяла: «Да, так я вижу; так вижу» — и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которое злые силы всю у нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, на нее, холодея, отрезвляя, накатывало другое: бездарь, ни на что не годна, отца держит на Бромптон-роуд, на задворках, — и невероятных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи (слава богу, не бросилась пока) и сказать — но что же ей скажешь? «Я вас люблю»? Но это неправда. «Я люблю это все», — жестом очерчивая изгородь, дом, детей? Глупость, чушь несусветная. То, что чувствуешь, — невозможно словами сказать.

И она сложила кисти в этюдник, аккуратно, одну к одной, и обратилась к Уильяму Бэнксу:

— Вдруг холодно стало. Солнце, что ли, больше не греет? — произнесла она, озираясь. Солнце светило достаточно ярко, сочно зеленела трава, дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи роняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом, мимо теннисного корта, куртины, к тому проему в густой изгороди, охраняемому двумя пучками тритом — пламенеющих лилий, в который синие воды бухты глянули синей, чем всегда.

Их что-то тянуло сюда каждый вечер. Будто вода пускала вплавь мысли, застоявшиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом охлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через

миг оторопеть и застыть от колошней черноты взьерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер, через неравные промежутки, так что ждешь его не дожدهшься и всегда наконец ему радуешься, белый взлетал фонтан, и пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивают бледную излучину побережья перламутровой поволокой.

Так стоя, оба они улыбались. Обоим было весело, обоих бодрили бегущие волны; и бег парусника, который устремленно очерчивал по бухте дугу; вот застыл; дрогнул; убрал парус; и естественно, стремясь к завершенью картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны, и вместо веселья нашла на них грусть — то ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали (думала Лили) словно на миллионы лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю.

Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи; думал про деревенскую улицу в Уэстморленде, и Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано, Уильям Бэнкс вспомнил (подлинный случай), прервано курицей, простершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно», и какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс, и осветило его простоту и сочувствие к малым сим; но дружбе их, кажется, тогда и настал конец, на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась; и, как

тело юноши пролежало столетье в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах.

Ему это было важно установить ради дружбы, а еще, возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел, Рэмзи ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен — ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи (по-своему великого человека), но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся впиталась в пыль Уэсторморленда, когда курица распростерла крылья над своим выводком; после чего Рэмзи женился, их пути разошлись, и винить тут решительно некого, если при встречах появилась тенденция повторяться.

Да. Вот так-то. Он замолчал. Повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем, по въездной аллее, перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тела дружбы, со всей алостью губ погребенной в торфянике, — например, Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по отко-су. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела «дать дяде цветочек», как ни уговаривала няня. Нет! Нет! Нет! Ни за что. Сжимала кулачок. Топала ножкой. И мистер Бэнкс почувствовал себя старым, ему стало грустно, вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел.

Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. Восемь человек детей! Восемь детей прокормить на философии! Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо, птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично тряхнув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят

(правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кой-какие независимые средства), не говоря уж о бесконечных обновках, которые всем этим «бравым ребятам» — рослым, буйным сорванцам — требуются ежедневно. Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев: Кэм Непослушная, Джеймс Беспощадный, Эндрю Справедливый, Пру Красивая — ведь Пру должна быть красивой, куда она денется, а Эндрю — умным. Пока он шел по въездной аллее и Лили Бриско отвечала «да» или «нет» и все его оценки побивала единственным козырем (она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир), он взвешивал положение Рэмзи, соболезновал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нибб отрешенности и аскетизма, его окружавший в юности, и, распростерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что дали; кто спорит; Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия; но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как, интересно, на свежий глаз? Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек? Крайностей, даже, пожалуй, слабостей? Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться — ну, положим, это чересчур сильно сказано, — так зависеть от чужих похвал?

— И все же, — сказала Лили. — Подумайте о его работе!

Когда сама она «думала о его работе», всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. Это все Эндрю. Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект и природа реального», —

сказал Эндрю. И на ее: «О господи, да как же это понять?» — «Вообразите кухонный стол, — сказал он, — когда вас нет на кухне».

И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганый стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И болезненным усилием воли она заставила себя сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганого, в глазках и прожилках стола, из тех, что словно кичатся своей прямоотой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими четырьмя, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и промениваешь дивные вечера, оправленные фламинговым пушком облаков, серебром и синью, на белый сосновый стол о четырех ножках (чем и заняты изоощреннейшие умы), тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой.

Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила «подумать о его работе». Он про это думает, очень думает. «Буквально без конца, — сказал он. — Рэмзи один из тех, кто лучшую свою работу пишет до сорока». Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего двадцать пять; последующее — лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, — все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристрастный. И, словно двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений, все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это — первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это — второе. Ее пригвоздило остротой до-

гадки; да это же строгость; и доброта. Я безмерно вас чту (говорила она без слов), вы не тщеславны; внутренне независимы; вы благороднее мистера Рэмзи; вы благороднее всех, кого доводилось мне знать; у вас ни жены, ни детей (она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем), вы посвятили жизнь науке (к сожалению, перед глазами у нее всплыли разрезанные картофелины); от похвал бы вас только коробило; великодушный, чистосердечный, возвышенный человек! Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея; стонял с кресел собак; нудно распространялся (покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью) о растительных солях и прегрешениях английских кухарок.

Как же все это согласить? Как судить о людях, как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить — один мне нравится, другой не нравится? Да и что, в конце-то концов, означают эти слова? Она стояла, пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш, и голос, ее собственный голос, без подсказки провозглашал непререкаемое, безусловное, спорное, даже трещины и складки коры припечатывая навеки. В вас есть величие, в мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен; он избалован; тиран; он страшно изводит миссис Рэмзи; но в нем есть кое-что, чего в вас (она адресовалась к мистеру Бэнксу) нет как нет; он отрешен до безумия; отмечает мелочи; он любит детей и собак. У него восемь человек детей. У вас — никого. Но как он недавно предстал в двух плащах перед миссис Рэмзи, требуя, чтоб она соорудила ему прическу в виде формы для пудинга? Все это пружинило вверх-вниз, вверх-вниз в голове Лили Бриско: как рой мечущихся, каждая сама по себе, но охваченных неви-

димой сеткой мошек; натекало сквозь ветви груши, в развилке которой еще витал образ струганого стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи; мелькало, мелькало, пока не лопнуло от напряжения; ей полегчало; совсем рядом грянул выстрел; и прочь от его раскатов метнулась стайка всполошенных скворцов.

— Джеспер, — сказал мистер Бэнкс. И, потянувшись за сметенным летом улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое:

— Кто-то ошибся!

Глаза, заволоченные волнением, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами, и в них затлелось узнавание; но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд; словно он умолял их секунду повременить с тем, что, он знал, неизбежно; словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошеное вторжение, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства, нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, как хлопнул у них перед носом дверью; и Лили Бриско и мистер Бэнкс, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, путившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.

5

— Даже если завтра погода и будет плохая, — сказала миссис Рэмзи, поднимая взгляд на приближающихся Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, — так в другой раз будет хорошая. А теперь, — сказала она,

решив, что прелесть Лили составляют ее раскосые китайские глаза на бледном личике с кулачок, но разглядит это только умный мужчина, — а теперь встанька, я твою ножку измеряю. (Потому что, может, они еще выберутся на маяк и ей надо взглянуть, не следует ли чуть надвязать чулок.)

Нежно улыбаясь своей восхитительной мысли — Уильям и Лили непременно должны пожениться, — она взяла чулок из пестрой шерсти, крест-накрест по устью запертый спицами, и приложила Джеймсу к ноге.

— Стой тихонько, детка, — сказала она, потому что ревнивый Джеймс не желал служить манекеном для сынишки зрителя и нарочно вертелся; ну и как же ей в таком случае разобраться — длинно ли, коротко ли, — спрашивала она.

Она подняла глаза — и что за бес вселился в него, в ее младшенького, ее детеныша? — увидела гостиную, увидела кресла, — жуткое зрелище. Их потроха валяются по всему полу; верно Эндрю на днях выразился; ну а какой смысл, спрашивала она себя, покупать хорошие кресла, чтоб они тут гнили зимой, когда дом бросают на попечение местной старухи и он буквально насквозь промокает? Ничего: зато он снимается за бесценок; дети его обожают; и мужу полезно очутиться за тридевять земель, а точнее, за триста миль от библиотек, от учеников и от лекций; и для гостей есть место. Коврики, складные кровати, страшные призраки столов и кресел, получивших отставку в Лондоне, — здесь получали права; ну, кой-какие фотографии и, разумеется, книги. Книги, она подумала, размножаются почкованьем. И никогда у нее не хватает на них времени. Ох. Даже уж книги, поднесенные ей, надписанные собственноручно поэтом: «Той, чья участь повелевать...», «Более удачливой Елене наших дней»... стыдно сказать, она ведь их не открыла. И Крума «О разуме», и Бэйтса «Обычаи дикарей

Полинезии» (Стой тихо, детка! — сказала она) тоже ведь не пошлешь на маяк. Рано или поздно, подумала она, дом захиреет до такой степени, что придется на что-то решиться. Хоть бы они ноги научились вытирать и не затаскивали в комнаты весь пляж — и то бы уж дело. Ну, крабов не запретишь, раз Эндрю действительно нужно их препарировать, и если Джеспер считает, что из водорослей получается суп, — тут тоже никуда не денешься; у Розы — свое: тростники, камни, ракушки; они все у нее одаренные, каждый по-своему. А в результате, вздохнула она, окидывая гостиную с пола до потолка и прикладывая чулок к ноге Джеймса, — дом с каждым летом ужасней. Ковер выгорает; отстают обои. Уж и не разберешь, что это розы на них. Но, конечно, если все двери вечно настежь и ни один слесарь в Шотландии не в состоянии наладить засов, — что же хорошего? И набрасывать зеленую шаль на раму картины — что толку? Через две недели будет как гороховый суп. Но больше всего ее раздражали двери; буквально все настежь. Она вслушалась. В гостиной открыто; в прихожей открыто; так и есть — небось и в спальнях открыто; и уж конечно, открыто окно на лестнице, его-то она открыла сама. Окна надо открывать, двери закрывать, кажется, просто, неужто так трудно усвоить? Вечерами она обходила комнаты горничных, там у них душно, как в печке, у всех, кроме Мари, молоденькой швейцарки, ей лучше ванны не надо, только бы свежий воздух, а дома у них, она сказала, «горы-то какие красивые». Так она сказала вчера вечером, заплаканная, возле окна. «Горы-то у нас какие красивые». У нее, миссис Рэмзи знала, там отец умирал. Оставлял семью без отца. Она сердилась, показывала (как стелется постель, как открывается окно, на французский манер расправляя пальцы), а после слов девушки вокруг нее тихо сомкнулось что-то, как после пролета сквозь солнечный луч тихо смыкаются крылья

и стальное сверканье их синевы перетекает в сдержанную лиловость. Она стояла и молчала, ведь что тут скажешь? Рак горла. Вспомнив все это — как она стояла, и девушка сказала: «Горы-то у нас какие красивые», и не было никакой, решительно никакой надежды, — она вдруг почувствовала раздражение и резко сказала Джеймсу:

— Стой тихо. Не балуйся. — И он тотчас понял, что она сердится не на шутку, вытянул ногу, и она ее смерила.

Чулок был короток по крайней мере на полтора сантиметра, даже делая скидку на то, что сынишка Сорли и менее рослый, чем Джеймс.

— Коротко, — сказала она. — И намного.

Никто никогда не глядел так печально. Черно и горько, на полпути вниз, в черноте, в глубине, в шахте, бегущей от света, быть может, скопилась слеза; скатилась слеза; воды качнулись, — сглотнули ее, зачихали. Никто никогда не глядел так печально.

Но быть может, — люди говорили, — все дело в ее внешности? Что за этим — за красотой, за блеском? Правда, спрашивали, он пустил себе пулю в лоб, умер за неделю до их свадьбы — тот, другой, прежний, о котором ходили слухи? Или — и нет ничего? Ничего, кроме несравненной красоты, за которой она скрывается, которую ничем не испортить? Ведь что стоило ей в иную минутку, когда речь заходила о великой страсти, несбывшихся мечтах, растоптанной любви, вставить, что и она, мол, через такое прошла, к такому причастна, испытала такое? А она никогда ничего подобного не говорила. Она молчала. Но все равно она всегда знала. Все знала, ничему не учась. Ее простота всегда проникала в то, в чем путались, в чем обманывались умники, прямодушные научило камнем, как птица, устремляться на цель, взмывать и парить и пикировать прямо на истину, — а это за-

хватывает; это поддерживает и дарит надежду — обманную, быть может.

«У природы немного той глины, — как-то сказал мистер Бэнкс, слушая ее голос по телефону и удивительно умиляясь, хотя она всего-навсего ему объясняла расписание поездов, — из какой она лепила вас»¹. Он ее представлял себе на том конце провода — гречанка, синеокая, с гордым носом. Нелепость — с такой женщиной разговаривать по телефону. Будто сразу все грации сошлись на лугах асфodelей, сочиняя это лицо. Да-да, он поедет Юстонским, в десять тридцать.

— Но она не больше ребенка печется о своей красоте, — сказал мистер Бэнкс, положив трубку и переходя в кабинет, чтоб взглянуть, как идут дела у рабочих, строящих гостиницу на задах его дома. И, наблюдая суету среди недостроенных стен, он думал о миссис Рэмзи. Ведь вечно, он думал, в гармонию ее черт вклинивается что-нибудь невозможное; она нахлобучивает войлочную шляпу; несетя в калошах через лужайку вызволять из беды ребенка. Так что, когда думаешь исключительно о ее красоте, приходится учитывать то живое и зыбкое (они покамест грузили кирпич на носилки) и его приплюсовывать к общей картине; а если судить о ее женском характере, остается в ней допустить некую особенность, странность; предположить подспудное побуждение отринуть свою царственность, словно ей надоела ее красота и все, что ей вечно поют, а ей хочется быть как все — незаметной. Непонятно. Непонятно. Впрочем, пора было вернуться за стол.

Снова принимаясь за толстый красно-бурый чулок, странно выделяясь на фоне зеленой шали, наброшенной на золоченую раму, и подлинного шедевра Микеланджело, миссис Рэмзи смягчила свою минут-

¹ Стихотворные строки из романа английского писателя Т.-Л. Пикока (1785—1866) «Хедлонг Холл».

ную резкость, взяла сыночка за подбородок и поцеловала в лоб.

— Давай поищем, какую бы нам еще картиночку вырезать, — сказала она.

6

Но что случилось?

Кто-то ошибся.

Оторвавшись от дум, она вдруг осмыслила слова, уже давно отдававшиеся у нее в голове без всякого смысла. Кто-то ошибся. Найдя близорукими глазами мужа, который устремлялся теперь на нее, она продолжала смотреть, пока он не подошел совсем близко (созвучья сложились у нее в голове), и она поняла, что что-то случилось, кто-то ошибся. Господи боже, да что ж там такое?

Он сдался; он дрогнул. Вся его суетность, вся уверенность в собственном великолепии, когда, как стрела, как сокол стремясь во главе своей рати, он несся долиной смерти, — погибла, рассеялась. Под ярый снарядов вой, смело кидаясь в бой, он несся долиной смерти, над краем беды и вот расстроил ряды — Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он дрогнул; он сдался.

Ни за что, ни за что сейчас нельзя было с ним заговаривать, потому что по некоторым неопровержимым признакам, по тому, как он отводил глаза, как весь съежился, сжался, будто прятался, чтоб ему не мешали вновь обрести равновесие, она поняла, что он разобижен и оскорблен. Она гладила Джеймса по голове; перенесла на него свое отношение к мужу, следя за маневрами желтого карандаша по белой ма尼шке господина из каталога, она думала, как было бы дивно, если б он стал великим художником; почему бы нет? У него такой прекрасный лоб. Затем, под-

СОДЕРЖАНИЕ

НА МАЯК	
I. У окна	7
II. Проходит время	129
III. Маяк	147
МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ	211